ТАТЬЯНА ЩИПКОВА

женский портрет в тюремном интерьере

Записки православной

Татьяна Николаевна Щипкова
Женский портрет в тюремном интерьере

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12937727
Женский портрет в тюремном интерьере.: Индрик; Москва; 2011
ISBN 978-5-91674-139-1

Аннотация

Книга «Женский портрет в тюремном интерьере» рассказывает о жизни и духовном состоянии женщин, осуждённых за уголовные преступления в 80-е годы прошлого века.

Татьяна Николаевна Щипкова (1930–2009), лингвист, кандидат филологических наук, преподаватель иностранных языков, была осуждена в 1980 году за проповедь православия в студенческой среде.

Книга написана в 1985–1987 годах и является историческим документом прошедшей эпохи, но её актуальность будет сохраняться, покуда российская пенитенциарная система не проникнется духом христианского милосердия и сострадания.

Татьяна Щипкова не разоблачает политическую систему и не оправдывает воровок и убийц, с которыми столкнулась в заключении. Это взгляд православного человека на трудную

судьбу своих соотечественников. Записки пронизаны болью за несчастных женщин, находившихся рядом с ней в уссурийской исправительной колонии номер 267/10.

«Не обеляю их, но жалею и призываю жалеть», – скажет она после освобождения.

Содержание

От издателя 6
Как я туда попала 10
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Татьяна Щипкова
Женский портрет в тюремном интерьере. Записки православной

Рекомендовано к публикации
Издательским Советом Русской Православной Церкви. № ИС 10-18-1847

Подготовка текста к изданию – Любовь Балакирева.

Издатель выражает благодарность Ф. А. Щипкову, А. И. Кырлежеву и М. В. Фёдорову за помощь в издании этой книги.

От издателя

Подлинно христианская жизнь немыслима без испытаний. Путь к Богу лежит через преодоление самых разных препятствий, создаваемых как грехом, укоренившимся в нашей природе, так и искушениями, приходящими извне. Но духовная борьба, которую ведёт на протяжении всей своей жизни христианин, может быть победоносной, если он уповает на помощь Божию – если христианин не только *употребляет усилие* воли, без которого *нельзя восхитить Царствие Божие* (Мф. 11:12), но и усилие молитвенное. Тогда возможно верующему преодолеть многие испытания. От первых дней бытия Церкви Христовой величайшим испытанием было испытание самой веры – перед лицом гонений и всяческих притеснений, которые воздвигали на христиан враги христианства. И Церковь прославляет сонм мучеников и исповедников, именуемых «семенем Церкви», потому что они засвидетельствовали силу благодати Божией, действующую в немощи человеческой. Церковь постоянно живёт памятью о *победе, победившей мир – вере* тех, кто с помощью Божией устоял в годину жестоких испытаний (1 Ин. 5:4).

В минувшем столетии Русская Церковь претерпела не меньшее, но даже более масштабное гонение, чем в первые века христианства: множество священнослужителей, монашествующих и мирян было убито, замучено или подверглось

преследованиям только за то, что они сохраняли свою веру и не отреклись от Христа Спасителя. Ныне прославлен сонм Новомучеников и Исповедников Российских XX века, и в результате постоянной исследовательской работы их длинный список всё время пополняется новыми именами.

Сегодня мы всё больше узнаём о духовном подвиге свидетелей Христовой веры в эпоху разгула агрессивного безбожия – между революцией и Великой Отечественной войной. Исследуется и более поздний период, когда после некоторого затишья снова стали закрывать храмы, а православные христиане подвергались репрессиям. Но нам нельзя забывать и о том времени, которое непосредственно предшествовало возрождению веры в российском обществе, – о 1960-1980-х годах. В то время в Церковь стали приходить люди, с детства оторванные от православной традиции, но искренне ставшие на путь духовного поиска и в конце концов обретшие Бога. По-разному сложилась судьба этих людей, но среди них были и такие, на долю которых выпало особое испытание – подвергнуться настоящим преследованиям, включая заключение, и, по существу, стать современными нам исповедниками веры.

Потребуется немалый труд историков, чтобы восстановить в максимальной полноте картину церковной жизни и стояния в вере православных христиан в этот, ещё очень близкий нам, период новейшей российской истории. Но такую работу необходимо делать, собирая все возможные ма-

териалы и свидетельства, чтобы будущие поколения церковных людей, да и всё общество в целом, знали о той, как правило, сокровенной, духовной жизни, которую вели христиане в условиях государственного атеизма.

К таким свидетельствам относится и эта небольшая книжка, написанная Татьяной Николаевной Щипковой – человеком скромным, непубличным, но при этом обнаружившим твёрдость веры и стойкость духа, когда Господь попустил ей пройти испытание судом и заключением за исповедание православной веры буквально за несколько лет до утверждения в нашей стране религиозной свободы.

Испытания, с которыми сталкивается христианин, разнообразны, они бывают более или менее тяжкими, но главным критерием подлинно христианского перенесения любых испытаний является тот духовный опыт, который верующий из них выносит и который научает христианина следованию заповедям Христовым. Об этом свидетельствуют и слова автора этой книги: «Любите врагов ваших… Один раз в жизни мне было дано это почувствовать полной мерой. Я считаю это переживание самым главным в том духовном опыте, который дал мне лагерь».

Подлинная вера, столкнувшаяся с сопротивлением и натиском врагов веры, порождает не ожесточение, но любовь, и потому она непобедима и неуничтожима никем в этом мире. Истинная вера научает любви Божией, которая, по слову Апостола, *излилась в сердца наши Духом Святым, данным*

нам (Рим. 5:5).

Как я туда попала

Сейчас эти годы названы застойными, а тогда они были – просто жизнь. Обыкновенная советская жизнь – сегодня как вчера, завтра как сегодня; никакой другой мы не могли себе представить. В Москве, в Ленинграде прошла хрущёвская оттепель, разоблачали культ личности, шумели на площадях. А у нас, в педагогическом институте города Смоленска, старались говорить на собраниях то, что требуется сегодня, что созвучно новым партийным лозунгам – чтобы не попасть впросак и не схлопотать неприятностей. Вот и вся оттепель. Когда она кончилась, большинству стало легче жить, потому что слова снова стали привычными, и не надо было так напрягаться. Таков был общий фон в Смоленске 60-х годов.

Правила работы оставались всегда теми же и были обязательны и неизбежны, как законы физиологии: мы, преподаватели, были работниками идеологического фронта, мы не должны были ограничиваться преподаванием своей дисциплины («Нам не нужны урокодатели!»), но каждый наш урок, каждое грамматическое упражнение должно было воспитывать студентов в духе преданности нашей «великой родине и родной коммунистической партии». Отступление от идеологии было самым страшным из мыслимых преступлений не только в глазах партийного руководства, но и в наших

собственных глазах.

Когда уже в 70-е годы мы прочитали в самиздате Оруэлла, мы ужаснулись не тому, что он нам открыл – мы всё узнали, всё было то самое, наше, – а той беспощадности, с которой он это сделал.

И всё же это был лишь общий фон, и партийный авторитет лишь казался незыблемым. Уже существовало меньшинство, оно было незаметно снаружи, оно вело вольнодумные разговоры в квартирах преподавателей и в общежитиях студентов. Главным было для многих из них – понять, в каком мире мы живём, понять природу страшной системы, найти, в чём ошибочность марксизма, если он ошибочен. Уже не боялись делиться этими мыслями с друзьями в поздних кухонных беседах, понижая голос и включая радио и телевизор одновременно: считалось, что два источника звука создадут достаточную звуковую преграду на случай, если подслушивают с улицы. Если же подслушивают через телефон, то на этот случай поворачивался диск и закреплялся с помощью карандаша. Наверное, сейчас эти наивные ухищрения смешны.

Вечером мы слушали «Би-би-си», поворачивая приёмник так и этак, чтобы проскочить между рёвом глушилок и музыкой с соседней волны. Мы узнавали из Лондона и Мюнхена о диссидентах, о Хельсинкской группе, о Комитете защиты прав верующих. Западный эфир на долгие годы стал для нас главным источником информации, более того, каналом

связи. Через него мы узнавали друг о друге.

Но это была тайная вечерняя, даже часто ночная жизнь (радиостанцию «Свобода» можно было услышать только ночью, и мы вставали в два часа и не спали до четырёх, сжимая ручку настройки). Кроме радио и разговоров в неё входили песни Галича и самиздатские книги, дававшиеся только самым надёжным друзьям на одну ночь.

Но и в дневной жизни появились трещины, раскалывавшие понемногу монолит идеологии. Это были студенческие опасные вопросы, которые в те годы официально именовались провокационными. Всякий неудобный вопрос объявлялся провокационным. На эти вопросы надо было что-то отвечать; приходилось выбирать между уважением к студентам и личной безопасностью.

Мало-помалу я присоединилась к идеологически ненадёжному меньшинству.

Однако, когда в 1964 или 1965 году, нарушая учебный план, я начала рассказывать студентам на уроках латинского языка о великой культуре античности, у меня и в мыслях не было бунтовать против идеологического диктата. Всё, чего я хотела, – это дать моим студентам, юношам и девушкам из смоленских сёл, немного больше сведений из истории культуры, чем это предусматривает скудная программа. Мне казалось нелепым, что они должны делать грамматический разбор латинского предложения с именем Цицерона в качестве подлежащего, в то время как они не знают, кто такой

Цицерон и чем он знаменит.

Заведующий кафедрой скоро узнал о моей дерзости, но промолчал, не возразив и не одобрив: человек образованный, он понимал необходимость того, что я делала, но предоставил мне самой пожинать возможные горькие плоды моего несанкционированного усердия.

На этих незаконных лекциях, украденных у герундия и перфекта, особенно часто возникали у студентов опасные вопросы. Но боюсь, что провокационными следует назвать не вопросы учащихся, а сами лекции преподавателя, который, рассказывая о Риме периода упадка, не всегда удерживался от рискованных параллелей.

В первый же год, дойдя в своих лекциях до рубежа между двумя эрами, я остановилась в недоумении: как же быть с христианством? Нельзя же обойти его молчанием. А если говорить о нём, то как? В то время я не верила в Бога, но воинствующий атеизм был мне отвратителен, я видела в нём воинствующее невежество. Христианство было для меня большой культурной и нравственной ценностью, с этих позиций я и начала свои получасовые лекции о христианстве. Моё отношение к этой теме, при всей его умеренности, резко отличалось от тех злобных и бессмысленных ругательств, которыми сопровождали любое упоминание о христианстве преподаватели марксистских дисциплин. Была ещё одна немаловажная разница между нами: в те времена позиция лектора считалась недостаточно атеистической, если он признавал

Иисуса Христа не мифическим персонажем, а исторической личностью. У меня же историчность Христа не вызывала сомнений, и эту точку зрения я излагала студентам.

До сих пор не понимаю, как за многие годы этих нелегальных чтений никто на меня не донёс. В каждой студенческой группе был свой стукач, в этом нет сомнений. Я думаю сейчас, что эти маленькие шпионы были настолько необразованны, что не поняли идейной опасности моих рассказов; кроме того, они, возможно, сами увлеклись в какой-то степени новизной этой темы. Риск между тем был велик с самого начала. Преподавателей всю жизнь вооружали для борьбы против веры и церкви. Проявить к этим вопросам интерес, не сопровождаемый погромным пылом, было не просто рискованно, это было почти самоубийственно. В середине 60-х годов была уволена наша молодая коллега, преподавательница английского языка, за то, что она позволила своей матери окрестить своего ребёнка. Я помню это собрание. Я слушала выступления коллег, разоблачавших безыдейность провинившейся и её преступное пособничество международной реакции, слушала, сочувствуя бедной женщине, помнится, мне и в голову не пришло встать и выступить в её защиту. А ведь мой собственный ребёнок тоже был тайно крещён: я сделала это отчасти из противоречия идеологическому императиву, но отчасти из смутной, но стойкой уверенности, что так надо. Коллеге не повезло, на неё кто-то донёс – что ж поделаешь, такова жизнь. Вероятно, с такими мыслями я

слушала собрание. Официально женщину уволили не за то, что ребёнок был окрещён. Такой статьи в нашем лицемерном кодексе не было никогда. У нас была, и до сих пор, несомненно, практикуется смягчённая форма увольнения – «по собственному желанию». Человека подвергают публичной экзекуции и предлагают подать заявление об уходе. Его трудовая книжка не оскверняется очернительной записью, он может найти себе другое место работы. Так делают, когда жалеют человека, но чаще всего – когда нет соответствующей статьи, то есть когда увольнение незаконно. Прибегают к этому способу и для того, чтобы избежать огласки, спасти честь мундира, не навлечь неприятностей на руководство, проглядевшее преступление или крамолу среди подчинённых. Непримиримая ненависть к христианству и к религии вообще всегда удивляла меня. Я чувствовала здесь какую-то тайну. Казалось бы, чем мешает построению светлого коммунистического будущего религия, исповедующая добро, тем более что верующих, как нас уверяли, с каждым годом становится всё меньше и меньше, и скоро их не станет совсем. Воинствующее безбожие партийной идеологии толкало меня к поискам в этом направлении. Но в духовных поисках, в отличие от размышлений о природе нашего политического и общественного строя, я была одинока. Никто из моих друзей не разделял этого интереса. Да и долгое время духовное одиночество не тяготило меня.

В конце 60-х годов я получила по наследству от бабушки

Новый Завет. Это чтение обозначило новый этап моей духовной жизни. По своей привычке приносить всё самое интересное в студенческую аудиторию я стала приносить Новый Завет на свои внепрограммные лекции и читать, а позднее диктовать студентам отрывки из Нагорной проповеди. Евангелие зазвучало вслух, и, возможно, это убыстрило мои собственные шаги по пути, которым я давно уже шла. Потребовалось ещё немного времени, чтобы я осознала себя верующей.

В начале 70-х годов я с тоской озиралась вокруг, ища братьев по духу, а находила только единомышленников в отрицании системы.

Много позже я узнала, что в те же самые годы примерно тот же путь, независимо друг от друга и тоже в одиночестве, прошли неподалёку от меня ещё, по меньшей мере, три человека. Это были юноши, студенты нашего института; они не были близки и не делились друг с другом своими проблемами. До поры до времени мы ничего не знали о духовных исканиях друг друга.

Один из них занимался у меня в кружке по истории французской культуры. Любознательный студент задавал мне разнообразные вопросы: возникали беседы, выходившие за рамки кружковых тем. Этим студентом был Владимир Пореш. Однажды – он был уже студентом Ленинградского университета – он сказал мне, что стал верующим. Мне оставалось ответить: «Я тоже».

Молодые быстрее находят друг друга. Скоро я узнала, что несколько молодых православных христиан Москвы и Ленинграда организовали семинар, и я стала ездить на их собрания. Это было в 1974 году.

Жизнь изменилась круто: в ней появилось главное, и оно было подпольным. Мы собирались на частных квартирах то у одного из друзей, то у другого. Была общая молитва, постепенно сложился даже свой молитвенный канон. Живой огонь веры грел душу и питал мысль. Состав семинара был подвижен, но ядро его составляли несколько человек: это были молодые люди лет двадцати пяти – тридцати из разных социальных слоев, порвавшие с советской системой если не образом жизни, то внутренне. Семинар как форма собраний был задуман Александром Огородниковым и Владимиром Порешем. Огородников был исключён из трёх высших учебных заведений, формально он был рабочим, но по сути это был деклассированный инакомыслящий – социальный тип, очень распространённый у нас в последние двадцать пять лет. Пореш не принадлежал к этому социальному слою, он работал в Библиотеке Академии наук в Ленинграде, в отделе истории книги. Вскоре к ним присоединились Владимир Бурцев, в то время рабочий Московского Метростроя, Владимир Соколов, актёр кино, Виктор Попков, профессиональный спортсмен, оставивший спорт ради христианской деятельности. Принимали участие в семинаре и совсем молодые люди, среди которых был и мой сын Александр, сту-

дент нашего Смоленского педагогического института.

Помню, как удивительно мне было видеть эту толпу молодых молящихся мужчин. Мы привыкли за долгие десятилетия, что в церковь ходят пожилые женщины, и я подумала тогда, что эти юноши – вестники глубоких и серьёзных перемен.

Семинарские доклады и занятия посвящались истории православной Церкви, творениям святых отцов Церкви, русской религиозной философии – всему, что было у нас отнято атеистическим воспитанием и образованием и что стало насущно необходимым.

Менее всего наши встречи отличались академической сухостью. Переступив порог очередного пристанища, мы чувствовали себя в мире свободы, творчества и любви. Мы были плохие конспираторы, более того, мы не хотели конспирации: мы не занимались политикой, не выступали против власти, не призывали к её свержению и не хотели вести себя в своём отечестве, как в чужой стране. Поэтому, когда у Александра Огородникова появился, стараниями и средствами сочувствующих и друзей, свой дом в деревне, адрес этого дома, нашего постоянного в те годы приюта, сообщался всем, кто хотел его узнать. Не раз он был сообщён по «нехорошим голосам», то есть по западному радио. В деревню Редкино Калининской области стали приезжать молодые люди из разных мест, в том числе из отдалённых маленьких городков России.

Наши собрания не могли остаться тайной для КГБ. Думаю, что именно наше пренебрежение к конспирации, спокойная свобода как принцип жизни и беспрепятственный – с нашей стороны – доступ к нам всех, кто того хотел, так рассердили нашу тайную полицию. Кроме того, мы, судя по всему, были первыми. Позднее появятся подобные семинары во множестве, они будут осторожнее и более академичны. У нас же был по сути не семинар, а община, то есть не молитвенное собрание, а форма жизни.

С течением времени мы всё чаще замечали за собой слежку: обернёшься неожиданно на улице и видишь уже примелькавшуюся физиономию.

Весной 1978 года в нашу смоленскую квартиру пришли с обыском. Это была кульминация, после которой быстро наступила развязка. Во время обыска у нас нашли самиздатский журнал «Община», который выпускали Пореш и Огородников, и много религиозной литературы. Две недели спустя началась организованная травля: были пущены по городу слухи о том, что в педагогическом институте раскрыта банда «сектантов-шпионов», которую возглавляла преподавательница иностранного языка, связанная с западной разведкой. Люди испугались, бывшие коллеги и студенты боялись здороваться со мной и переходили на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи. На факультете одно за другим проходили собрания, на которых нас клеймили как врагов марксистского учения и проводников чуждой идеологии.

Меня уволили, сына и его жену Любу исключили из института. Началась пора репрессий, шёл 1978 год. Осенью арестовали Огородникова, летом 1979-го – Пореша. В самом конце 1979 года и первые дни 1980-го последовали следующие аресты: в тюрьме оказались Владимир Бурцев, Виктор Попков и я.

Политические обвинения были предъявлены только Огородникову и Порешу, остальные были арестованы по различным уголовным статьям.

В феврале 1979 года мы собрались на семинар в Москве, в квартире одного из знакомых. Туда пришла группа сотрудников милиции и дружинников, с обыском.

Моя несдержанность (дружинник грубо сдавил мне руку, чтобы я разжала пальцы и отдала ему блокнот; я взмахнула рукой, чтобы дать ему пощёчину, но лишь мазнула по подбородку) дала им возможность обвинить меня в хулиганстве. Два месяца они размышляли, давать ли ход делу; 7 апреля, в день Благовещения, мне предъявили обвинение по статье 206, части первой, но не арестовали меня, а лишь взяли подписку о невыезде. Начались допросы. Первый мой следователь был коммунист-фанатик; он смотрел на меня с ненавистью, от ярости у него ходили желваки на щеках. Он расспрашивал меня о молодых девушках, посещавших наш семинар, и повторял злобно: «Всё мог бы простить, но девчонок не прощу. Вы их вовлекли в эту вашу липкую паутину. Лучше бы они стали воровками».

«Липкая паутина» была ходячая метафора, клише, обозначавшее религию; употреблялось во всех курсах по атеизму, в антирелигиозных брошюрах и статьях.

Я чувствовала, что арест неизбежен. Я не была к нему готова. Меня мучил страх, я боялась допросов в КГБ, которые рано или поздно должны были иметь место, но ещё больше я боялась своих будущих спутниц – женщин тюрьмы и лагеря, воровок и убийц. Я молилась каждый день, прося Господа снизойти к моей слабости и отложить арест на некоторое время, чтобы мне окрепнуть духом.

В конце апреля дело было приостановлено, допросы возобновились только в сентябре. Я получила четыре месяца передышки, чтобы собраться с силами. В сентябре меня вызвал уже другой следователь – молодой, циничный, ухмылявшийся. Он объявил мне, что теперь меня обвиняют по части второй той же 206-й статьи. Я заглянула в кодекс. Часть вторая предусматривалась для случаев с тяжкими телесными повреждениями или с применением орудий и предметов. «Что, – сказала я, – после тщательного розыска в моей руке нашли кастет?» Он засмеялся: у него было чувство юмора. «Нет, – ответил он, – просто вы особо опасный преступник».

Суд был назначен на 26 декабря 1979 года. Видно, я всё-таки сильно волновалась, потому что ночью у меня был приступ глаукомы, меня привезли в глазную клинику, и несколько часов врачи спасали мой правый глаз с помощью капель и пиявок. Утром я явилась на суд с повязкой на голове.

Наш суд, как известно, самый гуманный в мире: процедура и арест были отложены на две недели, до 8 января. 7 января – православное Рождество. Была очень морозная, очень ясная, дивная рождественская ночь, полная звёзд и сверкающего снега. Я провела её в московской церкви Адриана и Наталии, что на Ярославском шоссе, с друзьями за рождественским столом. Я исповедалась, причастилась и чувствовала себя готовой. Ехала на суд с вещами, понимая, что назад уже не вернусь. Мои молодые друзья пришли, но не были допущены в зал суда, который был заполнен исключительно мужчинами от тридцати до пятидесяти, с военной выправкой, хоть и в штатском. Впрочем, многие смотрели доброжелательно: кто-то открыл мне дверцу загородки для подсудимых, кто-то передал друзьям, стоявшим за дверью, мои часы (часы в тюрьме запрещены).

Во время перерыва меня выпустили в коридор, и я в последний раз стояла в объятиях друзей; они дали мне иконку Божьей Матери, которая позже сопровождала меня в путешествии в Сибирь и которая ждала меня три года в моих вещах на лагерном складе: заключённым нельзя было иметь иконы и кресты.

Когда был произнесён приговор (три года лагерей общего режима), меня повели специальной лестницей в камеру предварительного заключения, а друзья пели в это время в коридоре «Отче наш».

Начался первый день из трёх лет.

Три года – срок по нашему кодексу маленький, а колония общего режима, тем более женская, – наказание мягкое по сравнению с колониями других категорий.

Судили меня в Москве, а отбывать наказание отправили под Уссурийск. Порядок этапирования у нас такой: заключённых отправляют партиями по железной дороге, но не сразу к месту заключения, а до ближайшего большого города, в котором есть пересыльная тюрьма. Некоторых отсюда распределяют по местным колониям, другие ждут в пересылке очередного этапа, ждут неделю, две, три…

Сидевшие знают, что осуждённых у нас несметное множество: лагерники, «тюремщики», поселенцы, ссыльные, «химики», ЛТП… Когда свободы лишены миллионы, эти наказанные преступники превращаются в особую социальную категорию, засекреченность которой усугубляет её бесправность и угнетённость.

Несидевшие очень плохо представляют себе число наших колоний и их обитателей: статистические данные стали как будто появляться, но лишь в самом общем виде и в малодоступных изданиях. Представления обывателя колеблются между грандиозными кошмарами прежних времён, перенесёнными в сегодняшний день, и наивно-жестоким убеждением, что лагерей у нас теперь мало и сидеть в них легко, поэтому и преступники не переводятся. Но всё же слава наших лагерей такова, что, когда я вернулась, родные и знакомые боялись меня расспрашивать, опасаясь не столько травми-

ровать меня воспоминаниями о пережитых ужасах, сколько травмироваться самим, – они были уверены, что меня били.

Тюремно-лагерную тему до сих пор окружает плотный туман секретности. Лишь изредка в разрывах его мелькнёт документальный кинокадр о перевоспитании опустившихся женщин или статья видного публициста об осуждении невиновного. В самое последнее время стали появляться в печати очерки о воспитательно-трудовых колониях для подростков. О колониях же для взрослых, в частности о женских, почти ничего нет по-прежнему.

Когда нас привезли в колонию, заместитель начальника по режиму предупредил: «Письма писать можно, но смотря о чём. О своей жизни пишите так (у кого есть ручки, запишите): „Здравствуйте, дорогие родственники, я здорова, живу хорошо, работаю, стараюсь выполнять норму". О том, как вы размещены, как одеты, чем кормят, где работаете, каковы нормы выработки и нормы питания, писать нельзя. Если вы больны, они вам всё равно не помогут, лекарства присылать запрещено. Зачем же зря расстраивать близких людей?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.